

Бабы — эпизод 4 из 5

На другой день Вася заболел, вроде как бы холерой, и к вечеру, слышу, помер. Похоронили. Машенька на кладбище не была, не хотела людям свое бесстыжее лицо и синяки показывать. И вскорости пошли по мещанству разговоры, что Вася помер не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него в животе мышьяк. Дело было ясное, как пить дать; пришла полиция и забрала Машеньку, а с ней и Кузьму-бессребреника. Посадили в острог. Допрыгалась баба, наказал бог... Месяцев через восемь судили. Сидит, помню, на скамеечке в белом платочке и в сером халатике, а сама худенькая, бледная, остроглазая, смотреть жалко. Позади солдат с ружьем. Не признавалась. Одни на суде говорили, что она мужа отравила, а другие доказывали, что муж сам с горя отравился. Я в свидетелях был. Когда меня спрашивали, я объяснял всё по совести. Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила мужа, с характером была... Судить начали с утра, а к ночи вынесли такое решение: сослать ее в каторгу в Сибирь на 13 лет. После такого решения Машенька потом в нашем остроге месяца три сидела. Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом, машет руками и бормочет: Уйди! Уйди! И Кузьку к себе прижимает, словно боится, чтоб я не отнял. Вот, говорю, до чего ты дожила! Эх, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я учил тебя уму, вот и плачешься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини. Я ей читаю наставление, а она: Уйди! Уйди! и жмется с Кузькой к стене и дрожит. Когда ее от нас в губернию отправляли, я провожать ходил до вокзала и сунул ей в узел рублишку за спасение души. Но не дошла она до Сибири... В губернии заболела горячкой и померла в остроге. Собаке собачья и смерть, сказал Дюдя.

Кузьку вернули назад домой... Я подумал, подумал и взял его к себе. Что ж? Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная... Жалко. Сделаю его приказчиком, а ежели своих детей не будет, то и в купцы выведу. Теперь, как еду куда, беру его с собой: пускай приучается.

Пока Матвей Саввич рассказывал, Кузька всё время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо; издали в потемках походил он на пенек.

Кузька, иди спать! крикнул ему Матвей Саввич.

Да, уж время, сказал Дюдя, поднимаясь; он громко зевнул и добавил: Норовят всё своим умом жить, не слушаются, вот и выходит по-ихнему.

Над двором на небе плыла уже луна; она быстро бежала в одну сторону, а

облака под нею в другую; облака уходили дальше, а она всё была видна над двором. Матвей Саввич помолился на церковь и, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки. Кузька тоже помолился, лег в повозку и укрылся сюртучком; чтобы удобнее было, и он намял себе в сене ямочку и согнулся так, что локти его касались коленей. Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку, надел очки и стал в углу с книжкой. Он долго читал и кланялся.

Приезжие уснули. Афанасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку.

Спит сиротка, сказала старуха. Худенький, тощенький, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путем некому.

Мой Гришутка, должно, годочка на два старше, сказала Софья. На заводе в неволе живет, без матери. Хозяин бьет, небось. Как поглядела я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута в молчании.

Чай, не помнит матери, сказала старуха.

Где помнить!

И у Софьи из глаз потекли крупные слезы.

Калачиком свернулся... сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости. Сиротка моя бедная.

Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, заплаканное лицо, рядом с ним другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом, а выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной, и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула; им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство; застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и повернулся на другой бок.